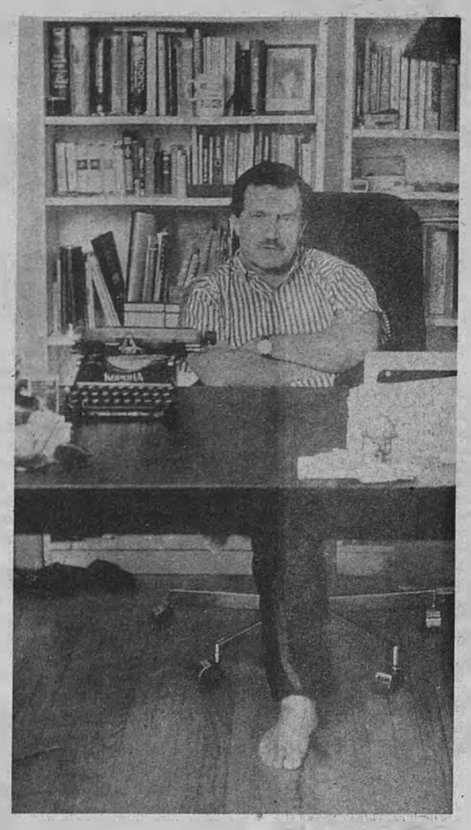
Акёнов Василий

4.02.95

«Ограбить писателя может только гильотина», —

сказал Василий АКСЕНОВ журналу «Элита», с любезного разрешения которого мы публикуем эту беседу



Накануне нашей встречи машину именитого русского писателя и уважаемого американского профессора вульгарно «обчистили», Бог знает, чем прельстившись. Это не «мерседес», не «форд-скорпио» — обычная крохотная «Ока». (В более престижном авто на родине автор незабвенных романов не нуждается). Чутье, однако, не подвело жуликов. В «бардачке», помимо документов, они обнаружили приличную сумму в долларах, легкомысленно оставленную писателем.

Уже во время интервью раздался телефонный звонок. Хотелось бы написать, что просвещенное ворье, узнав, кому нанесен урон, немедленно раскаялось... Увы, похоже, они прекрасно знали, кого грабят: о раскаянии и речи не было, поступило лишь деловое предложение — вернуть захваченные документы в обмен на новые доллары.

К «наезду» ворюг, превратившихся в рэкетиров, Василий Павлович Аксенов отнесся философски: у них в дистрикте Вашингтон еще и не то бывает.

В этом, быть может, напускном и тем не менее очень достойном спокойствии было нечто примечательное. Желание Аксенова и в быту соответствовать своему писательскому предназначению, более того — самому стилю своей прозы, предполагающей умение не только выигрывать, но и достойно проигрывать в житейской борьбе. Похоже, что любимым своим персонажам Василий Аксенов старался отвечать и в жизни, воплощая собой образ корректного джентльмена, любителя клетчатых английских пиджаков, шерстяных галстуков и рантовых ботинок. Иной раз трудно бывало определить, то ли автор подражает в обыденности своим героям, то ли герои являют собой реализацию авторских вкусов и заветных представлений о достоинстве и счастье. О красоте, комфорте, космополитической атмосфере фестивалей, вернисажей, премьер...

— Такого органического соответствия житейского стиля литературному давно не знала российская словесность. Если знала вообще.

— Почему же? — не согласился Василий Павлович. — Когда думаешь об этом соотношении искусства и жизни в писательском сознании, прежде всего приходят на память русские «байрониты»: Пушкин, Лермонтов. Они в молодости точно знали «делать жизнь с кого». (С «боярина Георга», как выразился Александр Сергеевич, заказывая панихиду по лорду Байрону). Он для них был абсолютным примером, просто эталоном в жизни, в манерах, в поведении, в умении принимать немедленные решения, в экзотических странствиях. Слава Богу, для этого очень годился Кавказ — без него вообще, быть может, не возникла бы русская поэзия в том виде, в каком она сложилась и существует. Как и без французского шампанского, кстати говоря. Что означало путешествие Пушкина в одиночку без чьего-либо разрешения в Арзрум? Он верхом пересек Кавказский хребет... А лермонтовские бесконечные поиски опасности, пирушки в тылу у горцев? Слияние жизни и творчества, «байронизм» в чистом виде, лепка своего собственного образа в согласии с творческой установкой.

Да и в советское время бывали писатели, которые как-то исподволь формировали свой человеческий имидж в соответствии с литературными пристрастиями. Например, Константин Михайлович Симонов... Этакий плейбой сталинской поры. С определенной ориентацией на Хемингуэя... Культ солдатского мужества, журналистского братства... «С лейкой и с блокнотом...», «Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун...», «Как дела, старик?», «В порядке, старик!» Постоянная выпивка как образ жизни, мимолетный роман на аэродроме... Сильный мужчина державы, готовый рисковать жизнью ради идеалов империи, и вместе с тем тайный лирик, поэт роковых встреч и разлук. Китчевый, в сущности, персонаж, но весьма любопытный и по-своему притягательный...

Что же касается меня, то я пытался в ранних своих вещах изобразить какие-то мгновения невоплощенной жизни. Представить возможные ипостаси себя самого. Хотя на самом-то деле эти мои видения редко в точности накладывались на меня.

— В свое время вы немало поддерживали наших российских постмодернистов, никому тогда не известный российский андеграунд. В конце семидесятых и их творчество, и ваше покровительство воспринимались однозначно — как вызов затхлой атмосфере в литературе, как борьба с тоталитарной идеологией, в конце концов. Но вот настали иные времена. Бывшие гонимые постмодернисты превратились в истеблишмент, а пародийная, издевательская их эстетика сделалась почти столь же нормативной, как некогда соцреализм. И мне, откровенно говоря, жаль нынешнюю читающую публику, в особенности молодую, которая не получила таких произведений (не сочтите за лесть), как «На полпути к луне» или «Папа, сложи». То есть рассказов и повестей, в которых сквозит не вывернутая, не перевернутая, не игровая, а подлинная жизнь с ее теплом и сердечностью, с бедами и печалями.

— Я своим американским студентам рассказываю: после революции в Москве существовала студия знаменитого художника-авангардиста Ильи Машкова, его ученики собирались вместе и писали, и не хотели расходиться, не желали расставаться. Их вернисажи превращались в то, что ныне называется «хепенингом», в некое действо, в которое вовлекается и публика. А самое замечательное, что эти творцы-авангардисты и авангардисты-зрители очень любили друг друга.

С нами происходило нечто подобное. В годы нашей молодости столики в ЦДЛ, в Доме кино, в ВТО, в прочих клубных ресторанах буквально на глазах становились центрами компаний. Двое приходили поужинать, а через четверть часа, как коралл, обрастали друзьями, подругами, приятелями, знакомыми, никто не хотел расставаться до утра, и самой распространенной репликой было: «Ты — гений, старик!»

И художники сидели тут, и джазисты, и актеры — это было движение! А сейчас, на мой взгляд, этого еще нет. Хотя не исключаю, что вскоре нечто подобное возникнет. И тогда нынешний тотальный постмодернизм предстанет в довольно жалком виде. Впрочем, допускаю, что общество должно переболеть и этим, пережить как заразу абсолютный нигилизм и чернуху. Я уже говорил как-то, что сейчас период не «вдохновения», а «выдохновения». Выдоха, освобождения легких и альвеол от гнусного совкового силикоза. На этой энергии освобождения, злого осмеяния прошлого, разумеется, может возникнуть нечто значительное. Однако жаль, что пока еще не возникло. Слишком многие сейчас используют пародию на пародию.

— Любителю книг в самом деле трудно примириться с точкой зрения на литературу только как на игру. Привычно думать, что литература все же не забава...

— Ну да, тут мы подходим к коренному вопросу: что же все-таки такое писательство — божий промысел или дьявольский искус. Понятно, что в литературном деле нельзя обойтись без игрового момента, но ведь эти нынешние российские ребята все на свете объявляют игрой. Их вообще невозможно уязвить. Скажешь, к примеру: это плохо написано, а они тебе в ответ: «Так ведь так и надо плохо писать». Упрекнешь в графомании, а они отговорятся, будто графомания и есть истинная свобода.

— Создается впечатление, что сегодня никто ничего не читает. И в компаниях спорят не о журнальных новинках, а о процентах по вкладам. Понятно, что это своего рода плата за свободу, неизбежная данность переходного периода. И все-таки обидно.

— Мне кажется, сейчас происходит естественная девальвация типично русского понятия «писатель — властитель дум». Оно было свойственно и старой России, и особенно поднялось в цене в послесталинский период нашей истории. Писатель служил своего рода последней инстанцией, у него искали ответы не только на вечные экзистенциональные вопросы жизни и смерти, но и на вопросы вполне конкретные — распускать колхозы или укреплять их, что сеять, когда жать... Думаю, что вот это непосредственное властительство в сущности уже исчезло. Вместо этого у писателя, который не суетится, не спешит на все политические тусовки и вообще не бежит впереди прогресса, вскоре появится некая новая роль в обществе. Сэлинджер вскользь сказал как-то в небольшой своей вещи: спокойно жить ради правого дела. Чем не задача? Если учесть, что для пишущего человека «правое дело» и есть литература. Что же касается новой общественной функции, то писатель, на мой взгляд, сделается или останется уловителем пошлости. Неким эталоном меры, вкуса, здравого смысла. Наблюдателем общественных нравов, ироником, насмешником... Именно тут, как мне кажется, литературное дело исполнится новым позитивным смыслом.

— Значит ли это, что в Америке такая функция литератора уже сложилась? И вообще что значит быть в Штатах писателем?

— Там литературная конъюнктура настолько коммерциализировалась, что в отчетах о книжных ярмарках можно прочесть, например, такую фразу: «Присутствовали как «большие» писатели, так и «малые». При этом под «большими» подразумеваются поставщики чтива, издаваемого огромными тиражами: Кленси, Шелдон, Бог знает кто еще, а под «малыми» настоящие мастера, как Воннегут или Стайрон. Этих серьезных авторов порой называют еще «литерари райтерз» — литературными писателями, то есть художниками, стилистами, творцами.

Мне представляется, что в Америке начинающие сочинители с молодых лет стоят перед выбором. Одни решают, заняться ли им, так сказать, литературным бизнесом, плоды которого заполонили сейчас российские развалы, или же стараться писать хорошую прозу.

— Как же в таком случае должен себя чувствовать в Америке писатель нашего, российского, менталитета?

— Я испытываю сейчас нечто вроде раздвоения сознания. В Америке меня знают в основном лишь русские, с американской точки зрения я обыкновенный «колледж профессор». Впрочем, сосед в Вашингтоне, проведав, что я пишу, обрадовался: «Так мы, оказывается, коллеги!» Он тоже «райтер» — пишет какие-то пособия по программированию. Приезжая в Россию, я не без удивления сознаю, что меня помнят, останавливают на улице, приглашают на всевозможные тусовки, одолевают просьбами о встречах и интервью. И я забываю о своих преподавательских обязанностях, а потом вспоминаю о них и начинаю скучать...

Четыре дня в неделю я преподаю. И еще готовлюсь к семинарам и лекциям. Читаю курс российской авангарда. Руковожу тем, что в Америке называется «воршоп» — литературной мастерской. Мои студенты — нечто среднее между нашими филологами и слушателями Литинститута. На собственное писание остается три дня. И на большие вещи, подобные «Московской саге», и на рассказы, и на статьи.

— Тут пришла пора заключительного, возможно, не совсем деликатного вопроса: свой третий возраст, как изящно выражаются теперь на Западе, вы, русский писатель, намерены провести там же, в Соединенных Штатах?

— Может быть. Хотя существование незаметного американского пенсионера не слишком меня привлекает... Хотелось бы встретить старость поближе к России. Скажем, в Греции. Или в Крыму, в Коктебеле. Я, знаете ли, очень люблю Средиземноморье, особенно восточное — выжженное, сухое, полынное...

Беседу вел Анатолий МАКАРОВ.
Фото Валерия ПЛОТНИКОВА.

Наши публикации

Махровой весной 1992 года капиталистического перелома художник Орлович заскочил к себе в Китай-город переодеться перед премьерой в Театре Ланком, то есть сменить свой полупиджак с потными полукружиями, растущими из подмышек, на другой вариант с полукружиями, что уже успели подсохнуть, оставив лишь соляные контуры.

Под окном, на крышах каменных трущоб, разросся немалый сад, в котором промышляли наглые коты полузаселенного квартала и беззаветно, будто не чуя постоянной опасности, упражнялась на все голоса суперсаги «Зангези» кошачья дичь, полу-соловьи, полупересмешники. Автор тут спотыкается о все эти рассыпанные половинки, но потом, сообразив, что на дворе как раз дрожит марево странной эпохи полу-социализма, полу-капитализма, следует дальше в своем полу-документальном повествовании.

В мастерской Орловича поджидал старый друг, богач Абулфазл Фазал, известный всей Москве под уменьшительным именем Фаза. «Почему ты решил, что я приду?» — удивился Орлович. Только человек с сильно выраженным восточным мистическим чувством мог просто так сидеть под чучелом совы и ждать, что хозяин мастерской вот-вот явится. Абулфазл Фазал маленькими пальчиками извлек крытую драгоценным сафьяном, пухлую, как справочник Авиценны, записную книжку и показал ее Орловичу: «Видишь, здесь тысяча сто моих друзей и тысяча сто моих блядей, и только к тебе я пришел в мой роковой час».

«Какой еще роковой час? — спросил Орлович. — Какой еще у тебя может быть «роковой час»?» Он, разумеется, никогда не думал, что у богатых людей могут быть какие-то «роковые часы».

Абулфазл поднялся во весь свой крошечный рост — пропорционально сложенный и даже красивый восточный человек, только лишь уменьшенный до миниатюра — и нервно заюлил в пространстве между литографической машиной и макетами театральных декораций. Он то и дело скрывался в дебрях мастерской, как будто уходил под воду, и что-то бормотал, временами что-то выкрикивая. Орловичу могло показаться, что он причитает на родном фарси, если бы он не знал, что Фаза не говорит ни на одном языке, кроме русского, да еще того полуворовского жаргона, что именуется the International Commercial English. Вдруг гость прорезался в проеме антресольной лестницы. Стоял драматически, положив руку на гриву раскрашенной деревянной лошадки, ни дать ни взять персона мексиканской революции. «Я хочу, чтобы мы сегодня были с тобой вместе, Модик! Помнишь, как когда-то?»

Еще бы не помнить! В годы «застоя», или, как Модест Великанович иногда выражался, «в годы сухостоя», Фаза был, можно сказать, единственной артерией, связывающей этот пещерного вида чердак со щедрым Западом. Всегда являлся с ящиками баночного пива, с вермутами и джинами, и сам, как джинн, волокущий за собой пару-тройку первоклассных девиц вместе с мерцающим шлейфом крутого дебоша.

«Не покидай меня сегодня, Модя, если есть у тебя еще ко мне чувство дружбы и душа великого художника!»

«Фаза, дорогой, да ведь премьера сегодня в Ланкоме! Не могу не пойти, там мой ученик, Юджин Пендергаст, оформлял декорации!»

«И я с тобой пойду! — как бы обрадовавшись, воскликнул советский перс. — А потом и дальше двинемся, и кого хочешь возьмем с собой из Ланкома! Только ты меня не покидай, мой лучший друг!»

Отказаться было невозможно. Вопреки гуляющим по Москве сплетням Орлович считал Фазу «отличным парнем». Легче всего, господа, объявить необычную персону агентом КГБ, а вот вы бы лучше попытались взглянуть на него глазами художника! Этот затянутый в кожу миниатюрный демон на белом фоне или в полосах зеленоватого цвета являет собой пятно хроматической трагедии. Ему жена, проживающая в Лондоне, на Гросвенор Сквер, не позволяет свиданий с дочерью на нейтральной почве, а в Англию он не может приехать, поскольку несправедливо занесен в компьютер Скотланд-Ярда.

Они вышли вместе на Никольскую. Немедленно приблизился экипаж Фазы, «мерседес-600» с мастером-раллистом за рулем в сопровождении большого джипа «Исузу Труппер», где размещалась охрана, трое бывших сотрудников спецгруппы «Альфа». Самая надежная в городе служба, хотя и не стопроцентно надежная, если судить по результатам прошлогоднего путча ЦК КПСС. Поехали. Бедный народ прижимался к стенам, как будто от крика «Пади!» и свиста кнута. Фаза, как мальчик, сидел среди мерседесовской кожи. Лицо свое держал в ладонях. Глаза шевелились.

Родители этого могущественного богача принадлежали в старые годы к коммунистической партии ТУДЭ, которая старательно трудилась для осуществления в Иране марксистско-ленинской революции. Увы, реакционные круги тоже трудились над обратным вариантом и, как выяснилось, трудились более старательно.

Во всех этих делах, вместо извечного французского cherchez la femme, ищи другую первооснову — керосин. Как только народная партия Ирана, выражая чаяния простых иранцев, национализировала нефть, реакция зашевелилась, да еще с такой силой, что свергла большого друга СССР господина Моссадыка и принялась потрошить ячейки ТУДЭ. Те же самые простые иранцы, что вчера еще размахивали красными флагами, теперь подкладывали активистов ТУДЭ под катки асфальтоукладчиков.

Нет никаких свидетельств того, что именно такая участь постигла отца Абулфазла, однако сын, особенно в подлитии, видел именно эту картину: папашу-старика расплющивает каток вместе со всеми его железами и потрохами, делает из него просто шкуру наподобие твоего медведя, Модик, на котором сейчас сидим, или даже тоньше, много тоньше. И заливался рыданиями.

О матери же своей Абулфазл Фазал вообще предпочитал не упоминать, хотя она тоже не вернулась из той моссадыко-пехлевистской переделки. Словом, что там говорить, взрослая сволочь мира во всех своих оттенках творит мерзости, а расплачиваться приходится детям. В семилетнем возрасте Фаза попал в сиротский дом Коминформа в глубинном российском Иваново, где научился в лучшем виде выгребать оловянной ложкой оловянную миску. Там он и повзрослел. Для переноса смысла мы можем перенести союз «и» в другое место и тогда, пользуясь гибкостью русского языка, получим нечто не очень-то вдохновляющее: «Там и он повзрослел» — то есть и он к взрослой сволочи приобщился.

Впрочем, достоверно известно только то, что он окончил в Иваново среднюю школу. Дальнейшие его университеты прикрыты туманами холодной войны. Иногда, по пьяни, выплывало, что он вроде бы получил степень бакалавра в старом Оксфорде, в другой раз смутно упоминалось какое-то училище в Рязани, где овладел наукой выбивать зубы и пользоваться психотропными пилюлями. Одно другому, впрочем, не мешает, а иногда и помогает, и уж во всяком случае ни то, ни другое не препятствует накоплению огромного капитала в твердой валюте.

Московские друзья и подруги привыкли к тому, что Фаза иной раз пропадает на несколько месяцев, «линяет с концами», как будто его никогда и не было, а потом снова возникает, сначала в виде слухов из Нью-Йорка, скажем, или с острова Мальты, или из Каира, а то и с кинофестиваля в Каннах, или из кулуаров совещания стран ОПЕК, а потом и сам материализуется на богемных чердаках и в кабаках Москвы, окруженный сомнительными «шестерками» и безупречными девицами.

«Вы все меня считаете агентом вашего мудацкого КГБ, старики, — говорил он, — а между тем я просто бизнесмен, сторонник системы свободного предпринимательства. Все дело в том, концы моржовые, что у меня есть иранский паспорт, а он, при всей своей говенности, дает возможность выезда из дикой страны моего детства и открытия в разных странах торгового бизнеса».

На чердаках и в кабаках покатывались со смеху. Щеки у присутствующих сводило от подмигивания. «А чем же ты торгуешь, Фаза?»

«Съестными припасами, — гордо заявлял иранский подданный и добавлял: — А также фертилизаторами».

«Ну, то есть говном, — пояснял тут же какой-нибудь остряк. — Наш Фаза людей кормит, а потом продает фекалии». После таких слов Абулфазл немедленно бросал в остряка через стол бутылку и нередко попадал. От дома, впрочем, ему никогда не отказывали. Богемщикам нравилось представлять его иностранным журналистам со словами: «А это господин Фазал, наш простой советский капиталист».

Вдруг однажды «канальи» (так в Москве тех лет называли иностранных коров, имея в виду «каналы» легальной и нелегальной информации) заволновались по поводу Фазы. «Давно ли вам встречался господин Фазал? А что вы о нем думаете? Не волнуйтесь, все, что вы скажете, будет оффрекорд». Оказалось, что господин Фазал арестован в Мюнхене контрразведкой ФРГ и что Америка требует его выдачи как нарушителя закона о запрете торговли стратегическими товарами. Советское правительство, разумеется, занимает позу оскорбленного достоинства. Иран заявляет, что ублюдок Фазал является слугой Сатаны и к своей праведной родине не имеет никакого отношения. Потом все затихает, как будто и не было в мироздании такого персонажа, как Абулфазл Фазал.

Через три месяца он появляется, неся на ланитах покров байронической бледности. «Я много пережил за это время, — говорит он друзьям и подругам из сафьяновой книжки. — Тамара оказалась мне неверна. Манхеттен засосал ее в свою развратную трясину. Больше на Манхеттен я не ездок!» На все вопросы о заграничной тюрьме Фаза отвечает лишь небрежным отмахиванием: «Что за лажа? Не верьте дурацким сплетням!» Вялый, посторонний, хмурый, растерзанный любовной драмой, сидит на своей трехэтажной даче под Москвой, никого не приглашает, но и не прогоняет, если приезжают без приглашения.

Наконец начинается «горбовизм», открываются головокружительные возможности в мире международной торговли съестными припасами и фертилизаторами. Абулфазл, к тому времени оправившийся от воспоминаний то ли о «трясине Манхеттена», то ли о германском узилище, оказывается со своим капиталом — по слухам, не менее 300 зеленых лимонов свободных денег — в центре новых инициатив. День-деньской он курсирует между цэковским кварталом на Старой площади и молодежным филиалом, что наискосок через бульвар, за памятником «Гренадерам Плевны». По коммерческой энергии молодые ленинцы перекрывали тогда даже опытных товарищей из штаба партии. Даешь КомСоМол — Коммерческий Союз Молодежи!

Фаза заседал в советах попечителей новых корпораций, акционерных обществ и фондов, циркулировал по странам, не отказавшим ему в праве въезда, создавал филиалы и «дочерние группы» под «амбреллой» его собственного посреднического финансового узла, название которого вдруг всем стало известно: «Euro-Asian Fellowship». В Москве тем временем он тоже распространялся в новых предприятиях: то валютный бар, то валютный продмаг, то общедоступный спортцентр (наиболее подозрительное заведение из всех), то дискотека, то кинокомбинат вкупе с фабрикой сувениров — повсюду выявлялось присутствие вездесущего Фазы.

Друзья нередко могли его застать и в президентском кабинете, стометровой комнате над крышами Москвы. Подобно ранним символистам, смотрели на угасание заката, играли на пианино что-нибудь ностальгическое, вроде «Московских окон негасимый свет». Фаза грустил. Он был убежден, что ни одна женщина не полюбит его всерьез из-за его миниатюрных размеров.

Однажды Модест Орлович застал его в вестибюле фирмы за необычным занятием. Господин президент лично распоряжался погрузкой в фургон большого количества каких-то увесистых ящиков. «Что там такое?» — поинтересовался художник. «Рубли», — был ответ. Даже легкомысленный художник не мог не удивиться: «Как, во всех этих ящиках — наши, советские рубли?» «Вот именно, — сохраняя свою постоянную серьезность, кивнул перс. — Причем в крупных купюрах». Даже легкомысленный художник не мог не поинтересоваться: «А куда же их везут?» Фаза полоснул его взглядом леопарда, но потом с серьезностью рассмеялся: «Модик, ты же знаешь, что на некоторые вопросы нет ответов». Художник не мог не рассмеяться в ответ: «А почему бы тебе не подарить старому другу хоть один ящичек?» Фаза еще раз серьезно на него посмотрел, а потом сказал: «Да бери любой». Тут же один из евразийских молодцов погрузил ящик рублей в багажник модестовской «Лады». «Потрать быстрее», — посоветовал друг.

Потратить рубли в последние месяцы коммунизма было задачей не из легких, потому что на них уже почти ничего не продавалось, однако и тут Фаза пришел другу на помощь советом: «Изъяви желание потратить в десять раз больше цены, и сразу найдешь немало превосходных товаров».

Вот таков был маленький Абулфазл Фазал. На его долю в жизни выпало стать оператором денег, и он с этой долей неплохо справлялся. Иные скажут: что еще надо человеку — и проявят таким образом поверхностный взгляд на жизнь вообще и на жизнь Абулфазла Фазала в частности. Слов нет, деньги много дают человеку, но когда ими постоянно обладаешь, начинаешь воспринимать их как воздух и вдыхаешь, не задумываясь, то есть не всегда проникаясь счастьем.

«Счастье, может быть, в основном исходит от женщин», — так иной раз думал Фазал и начинал грустить. Грустная проблема женщин, как ни странно, была у него связана с изобилием денег. Всех своих красавиц он подозревал, что они ложатся с ним в постель из-за денег, а не из симпатии.

Как и подобает падишаху, он был исключительно щедр с женщинами. В ответ и они были щедры и охотно отвечали на все запросы. «Еще бы им не отвечать на мои запросы, когда я им так много даю всего материального», — говорил он друзьям. Он как бы даже не допускал мысли, что какая-нибудь женщина может увлечься таким маленьким мужчиной без материальной щедрости. Друзья его утешали: в постели разница в росте значительно сглаживается. «Да-да, — он кивал, — я и сам нередко замечал этот феномен, тем более что моя штука их вполне устраивает». Свой фаллос он нередко называл «штукой», а если учесть, что в московском денежном жаргоне слово «рубль» все чаще вытеснялось «штукой», иначе говоря, «тысячей», то тут опять возникала какая-то двусмысленность. В общем, он всегда мрачнел, когда речь заходила о женщинах. «Как они могут быть, эти бляди, со мной искренними, если я им и шубы покупаю, и телевизоры японские, даже автомобили, а в некоторых случаях и кооперативные квартиры?» «Ну, хорошо, Фаза, — говорили ему друзья, — завязывай со своей щедростью, вот и проверишь, кто к тебе хорошо относится». «Это невозможно, — отвечал он. — Я не могу быть жадным с женщинами, с этими суками, которые на Манхеттене впадают в форменное свинство, а иногда даже отказываются прилететь в Швейцарию с моими собственными детьми».

Таков в общих чертах был этот Абулфазл Фазал, чьи деньги сильно перевешивали его хрупкую фигурку, хотя слегка и уравновешивались трагическим иранским лицом с буревестниками бровей.

Театр Ланком в тот вечер съехалась «вся Москва», вернее, то, что от нее в тот вечер осталось, учитывая «четвертую волну» эмиграции и крушение «железного занавеса». Этот театр еще недавно назывался «Ленком», однако публика в духе времени вроде бы даже не заметила изменения первой гласной, тем более что вместо красной портяночки здесь и впрямь стало попахивать французской парфюмерией.

Давали в тот вечер пьесу под сходным названием «Экскъ-